

— О черк —

ГЛУБОКИЕ КОРНИ

СЛОЖНОЕ чувство наполняет сердце, когда заглядываю в памятный по фронтовой юности Матвеев Курган. Я радуюсь его нови: светлым, чистым, сбегаящим к Миусу улицам, тенистым скверам, белокаменным зданиям школ. Волнует по-южному пестрое многолюдье. Но, отмечая это и многое другое современное, появившееся в облике поселка уже после войны, глаз всегда ищет осколки былого, следы прошлого, дорогие каждому фронтовику. Так было и в том сентябре, когда на ярком матвеево-курганском празднике освобождения я оказался вместе с бывшим ординарцем, черкесом Хамзетом Каповым. Где только мы не побывали тогда! Мы разыскивали места своих окопов, хаток, в которых квартировали, тропки, по которым хаживали почти три десятка лет назад. Уже близился вечер и ноги гудели будто после долгого марша, когда Хамзет сказал:

— Взглянуть бы еще на ту шелковицу, которую, помнишь, мина задела...

В памяти тотчас ожил один эпизод декабря сорок первого. Тогда только что выпал первый снежок. На его белизне четко выступает каждая мазанка. Немцам, стоявшим на Волковой горе, это на-руку. Разрывы их мин накрывают каждого, кто появится на улице. Поэтому днем мы отсиживаемся в хатах. Но именно в такой светлый час мне понадобилось

— 2 —

пробраться на правый фланг роты, за овраг, где были фермы.

Отправляюсь вместе с ним, ординарцем Хамзетом Каповым. Перебегаем задворками, минуем одну мазанку, вторую. И тут из-за Миуса донеслось несколько хлопков, а в небе натужно завывало.

Заметили все-таки фрицы! Впрочем, этот минометный залп не страшен: раз слышен вой — значит перелет. И точно: взрывы взметнулись далеко справа, на другой улице.

Не медля, бежим к порядковой хатке, из-за крыши которой проглядывала верхушка дерева. Были уже на полпути, когда с Волковой горы раздался еще хлопок. На этот раз одиночный, с резким взвизгом, переходящим в едва слышный замирающий шорох.

Эта — опасна! Мы успеваем метнуться к мазанке, когда оглушительно треснуло, и нас осыпало ветками, камышевой трухой.

Мина рванула справа от хатки и вроде вверх. Выглядываем в огород. Вон оно что! Задело дерево, расщепило ствол. На нем покачиваются надрезанные сучья...

Если бы не эти сучья, мина пролетела бы еще метров десяток. Мы оба, как по команде, переводим взгляды на то место, где она в таком случае могла плюхнуться, и оба поеживаемся: выходит, на грядке, с которой бросились к мазанке. Ясно: не добежали бы. «Какой же нам был, командир, — резюмирует Хамзет. — Спасибо надо сказать чинаре».

— Не чинара это, а шелковица, — слышится женский голос.

— 3 —

Голос доносится будто из-под земли. Вглядываемся: под стеной, прикрытой рельсами, проем не то погребка, не то блиндажика, а в нем — неясное лицо женщины с ребенком, закутанном в шубку.

— Она, эта шелковица, уже которую мину «ловит». Сучка здорового нет, а все стоит, как заговоренная, — продолжала хозяйка хатки. — Вы же, дорогие мои, или залазьте в погреб, или шагайте дальше. А то, неровен час, опять накличете мины.

НАМ НЕКОГДА было задерживаться. Пользуясь паузой, поспешили дальше, к фермам. В памяти не сохранилось, что я там делал. Но вот об этой-то шелковице, встреченной тогда в пути, припавшей на себя мину, нашу мину, и вспомнил Хамзет на празднике освобождения. Я не прочь был взглянуть на спасительницу, только как ее найти? Ведь мы не знали даже улицы. Правда, район помнился, северо-восточный, неподалеку от оврагов. Но в шаткости, недостаточности ориентиров начали убеждаться, едва вышли на памятную окраину. Овраги тут или запылили, или были зарыты, повсюду стояли новые каменные дома, за которыми, смыкаясь кронами, зеленели яблони, груши, вишни. Половодье садов! И ничего хотя бы отдаленно похожего на то близкое, родное деревцо. Иногда мы задерживались возле стариков и старушек, чинно сидевших на скамейках в тени палисадников. Праздничная торжественность сходила с их лиц, когда спрашивали о женщине с грудным ребенком, обитавшей во время войны где-то здесь в подвале. Собеседники вздыхали:

— Все мы, милые, хлебнули в ту пору лиха, все, как кроты, жили в погребах.

Между тем, вечерело. Я уже подумывал о гостиничной койке, когда Хамзет метнулся к изгороди:

— Она!

Перемахнув через загородку, спутник приблизился к шелковице, росшей в глубине огорода. Могуча, широко была ее крона, но в облике ее, в очертаниях неровного ствола явственно проступало что-то от памятной, той, которую искали.

— Вон и следы от мины, — показал Хамзет заросшие корявые наросты на стволе. — А глянь под хату: рельсы еще торчат.

Залаяла собака. На шум из домика вышел сухощавый седой мужчина. Хамзет сбивчиво стал объяснять причину нашего появления в огороде. А чуть позже мы уже сидели под крышей дома Афанасия Афанасьевича Ткаченко (так звали хозяина), пили чай, а он рассказывал, как отец, еще в двадцатые годы, посадил эту самую шелковицу, как она набирала силу, став потом свидетелем всех событий его жизни. Под сенью ее листы он, Афанасий Афанасьевич, готовил уроки, когда учился в школе, под нею мечтал о будущем агронома. Осуществляя потом свои планы, поступил в техникум. Тут же, под шелковицей, стояли гостевые столы, когда игралась его свадьба.

Накануне войны он заболел. Во время нашествия гитлеровцев трудился в тылу, добывая для фронта хлеб. Жена же, Варвара Евдокимовна, с малолетним Валериком оставалась в Матвеевом Кургане. «Жила в этой же мазанке, — подтвердил Афанасий Афанасьевич. — Да вот и она, легкая на помине».

В хату вошла невысокая круглолицая женщина. Присев к столу, сказала, что работает в сельсовете, что там уйма дел, потому и задержалась. Попросила не сетовать на тесноту в хате. «Так и не перестроились мы с войны. — проговорила она. — Только подправили, чуть расширили. Все недосуг было заниматься стройкой: детей учили. Время же было трудное, каждому помогали, слали посылки, деньги».

— Вон какими вымахали, — с нотками гордости заметил Афанасий Афанасьевич, снимая со стены рамку с семейными фотографиями. На крайней стоял сухощавый, стройный, будто вылитый в отца Валерий. «Тот, которого видели на руках у жены в сорок втором, — пояснил хозяин. — Он окончил судомеханический техникум, сейчас трудится на Таганрогском комбайновом заводе, учится заочно в институте».

На других снимках были сыновья младшие: Георгий и Миша. Первый заканчивает авиационный институт, а Миша — техник по электрической сварке — на Камчатку уехал. Кроме этих, «гражданских» снимков, в рамке были другие, на которых сыновья красовались в военной форме, присланные со службы в Советской Армии. У истребителя, видимо, после полета, сидел Георгий. Мое внимание привлекла еще фотография бородатого Нептуна — царя подводного царства, благословляющего молодых моряков.

— Узнаете, кто Нептун? — спросил Афанасьевич, видя мои колебания, ответил: — Миша! В подводном флоте служил. Снимок прислан с экватора.

Обычай у моряков такой: когда проходят эту точку, берут откуп у властелина вод. Вот Миша и разыгрывает Нептуна.

Афанасьевич долго еще выкладывал о путях-дорогах сыновей. Его рассказ и снимки будто раздвигали стены горницы, уносили в горы Камчатки, в стратосферу и на просторы океанов, туда, где плавали, ходили, летали дети. А за окном избы отсветами электрического света серебрилась пышная крона шелковицы. Густая ее листва трелетала в порывах теплого вечернего ветерка, налетавшего с Млуса. Шелестели наперекор смертельным бурям, некогда пронесшимся над ними. И что-то общее с шелковицей было в судьбе семьи, в которой мы гостевали. та же жизненная стойкость, то же стремление к свету, простору, солнцу.

С главой семьи — Афанасием Афанасьевичем — я переписываюсь и сейчас, спустя три года после встречи. В письмах, которые получаю, он рассказывает о матвеево-курганских новостях, переменах под крышей своего дома. В нем отшумело уже две свадьбы. Старшие сыновья поженились, и он, Афанасьевич, уже няичит внучат. Семья растет, все глубже укореняется в жизни. Все так же, как прежде, судя по листьям, цветет и шелковица. Я вдвойне теперь благодарен этому дереву за давнее военное прошлое, за ту, принятую на себя мину, нашу мину, и еще за то, что она свела меня с интересными людьми, хозяевами нынешнего обновленного, всегда доброго сердцу Матвеева Кургана.

А. ГОЛУЗОВ.

г. Псков.